

Ипполит Харламов

ДЕТСТВО И ЗАБВЕНИЕ И. Х.



— (...) Кто-нибудь заглянул ли хоть раз хорошенько туда, на самое дно? Едва ли. Глаза не выдерживают, если смотреть туда.

— Может быть, оттого, что на дне какой-нибудь особенный свет.

— Ты думаешь?

— Я хочу посмотреть.

Габриэле д'Аннунцио

0.

Всё потому, что между детством и остальной жизнью возвышается туманный заслон, сквозь который проходишь босиком на рассвете, с полузакрытыми глазами, быть может, и вовсе не просыпаясь — и пока стражник у призрачных ворот обшаривает твои карманы и раскладывает на хвоистой тропке изъятые ценности, ты досматриваешь сон, воинственный и тревожный, яркий и дымный, в душе не чая, чего не досчитаешься, очнувшись. Чего-то точно не досчитаешься.

1.

Раз и два: Аид граничит с Эмпиреем. Два и три: между царством теней и золотым океаном – шпалерка пыльной листвы, корочка подсыхающей грязи и молочная калька сетчатки. Четыре и пять: в это “между” ты и рождаешься, да только ни на йоту ему не принадлежишь. Вырастая, привыкаешь к жизни на своей нейтральной полоске, делаешь вид, что не слышишь, как одновременно готовятся к штурму: мокрый почвенный сумрак с одной стороны, белизна и пламя -- с другой.

Ближним твоим достаточно видимости, чтобы не беспокоиться; по крайней мере, никто до сегодняшнего дня не спросил, какова твоя нагота под грязно-охристым камуфляжем срединного мира. Ребёнок же прозрачен, и всякому видно, что граница между Аидом и Эмпиреем проходит ровно по его гибким, как у морского конька, позвонкам.

-- Детство – это такой период, когда обряды перехода совершаются каждые несколько часов и воспринимаются как нечто естественное, -- сказал И. Х. – Это потом они становятся Событиями: когда встаёшь на комок твёрдого материка. Так, наверное, отвыкают от землетрясений люди, переехавшие с Дальнего Востока куда-нибудь в европейскую часть страны. Годы спустя они вспоминают звон стёкол в серванте, и им делается не по себе. Вот и вам не по себе вспоминать тот мир и всё, что мы выискивали в нём для своих культовых отправок. Или не мы выискивали, а природа подбрасывала сама.

-- Часто пишут, – И. Х. усмехнулся, – что до недавнего времени, до конца девятнадцатого века, европейской культуре вовсе не был интересен феномен детства, эта личинчатая стадия развития, а нынешняя шумиха вокруг него – симптом инфантилизма, вырождения. Дескать, все поиски истины во младенческих колыбелях, все эти неисчислимы дети-герои литературы, живописи и кино свидетельствуют о коллапсе какой-то настоящей, серьёзной, взрослой культуры, а мы, занятые детской темой, похожи на стариков, страдающих деменцией. А мне кажется, что всё наоборот: человек не занимался детством лишь потому, что не успел ещё выйти из него. Он

воображал себя взрослым, как все дети, и, как все дети, нисколько не ценил мифа, которым жил. Мировые войны вырвали его из позднего отрочества сразу в позднюю зрелость, и вот он стоит, этакий холостяк-алкоголик, разменявший пятый десяток, посреди поблэкшего мира – и ностальгирует по всем возможным версиям детства, лишь бы вернуться хотя бы мысленно к яркости тех красок. К тому ясновидящему варварству. Детству не нужны мифы о детстве: оно готово сделать миф из чего угодно, из каждого пятна на обоях, но себя не осознаёт. Короче говоря, наша чувствительность к детству свидетельствует не о том, что наше общество намеревается в него впасть, а о том, что оно окончательно с ним рассталось, причём довольно болезненным образом.

– А ещё меня чудовищно раздражают чёрно-белые краски, в которых рисуют детство нынешние писатели. У них что ни дитя, то мудрец и рыцарь, само торжество невинности, или, напротив, оргия психоаналитических демонов, средневековый монстр с тысячами присосок, жаждущий смерти, крови и оторванных мушинных крыльев. И всего того, что нравилось описывать Фрейдю. Это тоже побочный эффект мифологизации. – И. Х. вынул из пачки очередную сигарету. – Но это фальшивые мифы. В настоящих легендах не бывает чёрно-белых героев. Разве что идиоту придёт в голову читать «Илиаду» и выискивать в ней хороших парней. Или, наоборот, плохих. Испорченных. Ценность мифа не в его морали, а в его универсальности, понимаете? Вот и детство: нужно, чтобы кто-нибудь изобразил его во всей полноте, так, чтобы дух захватывало от узнавания. Конечно, это не моё дело, да и не ваше: вы поэт, а для такой работы нужен могучий прозаик. Но мне бы хотелось прочесть такую книгу, когда она будет написана. Рано или поздно ведь будет.

И. Х. наконец закурил, и я за компанию. Мы сидели в одной из кофеен Литейного проспекта, неуютной, но и немногочленной, и холодноватая тишина как нельзя лучше способствовала нашей беседе.

– Не знаю, как другие, – сказал я наконец, – а я нахожу свои детские воспоминания именно оргией психоаналитических демонов. Когда я узнаю, что у других детей были подобные страхи и опыты, мне даже не верится. Я привык считать, что так выражалась какая-то инопланетность, присущая мне одному. А оказывается, что нет, но это

не убеждает меня в нормальности такого положения дел. Мне легче предположить, что инопланетность имела размах эпидемии. По крайней мере, в то время и в том месте.

– Ну да, девяностые, – буднично подтвердил И. Х. – Лихие — идеальный эпитет, если производить его от Лиха Одноглазого. Но я не думаю, что предыдущие поколения были сильно лучше. Разве что их тщательнее учили скрывать эту, как вы выразились, инопланетность, а мы впитали флюиды распада и не чувствуем за собой ни права, ни, если уж на то пошло, желания поворачиваться к своим кошмарам спиной.

– «У меня нет никакого права избегать ада», – процитировал я. – Георг Траклъ. Модная в последнее время фраза.

– Вроде того. Мы были воспитаны распадом, и вот теперь он тащит нас за собой на верёвке, как щенят: наши страхи, нашу совесть, нашу эстетику, а мы не чувствуем себя вправе огрызнуться и укусить, потому что помним, как выросли в его объятиях. Вот это и есть настоящий инфантилизм.

– Согласен, – сказал я. – Иногда мне хочется обернуться и... очнуться? Прозреть? Во всяком случае, увидеть там не этот самый распад, а нечто правильное, здоровое. Стройное. Благоразумное, наконец. Пусть даже лицемерное, я уже не возражаю. Но я оборачиваюсь и вижу какой-то Сайлент Хилл: эти беспросветные дворы, подъезды, стройки, подвалы, гаражи. Или как мы бегали в заросли тыкать палками алкаша с разбитым лицом. Мы думали, что это труп, и были счастливы. А самое дикое то, что я уже начинаю любить этот хоррор. Свыкаюсь с мыслью, что он мой, всецело принадлежит мне, и испытываю... Едва ли не благодарность. Хотя за что уж тут, казалось бы, благодарить.

– Не нагнетайте, – отмахнулся И. Х. – Конечно, спящий алкаш – не идеальное зрелище для ребёнка, но ничего ужасного в нём нет. И не знаю, почему вы называете дворы и гаражи беспросветными. Похоже, вы занимаетесь как раз тем, о чём я только что сказал: соревнуетесь с Босхом.

– Возможно, – сказал я. – Даже так: вы правы, я нагнетаю, но намеренно. Я хочу сказать, что в то время и в том месте – в России начала девяностых – в воздухе витало что-то... наподобие серы? И её концентрация была слишком высока, чтобы остаться незамеченной. Мы не понимали ни политических, ни экономических, ни социальных причин смуты, но унюхать запах серы мы могли. Может, даже запах крови. И этот смрад пропитывал всё, что мы видели. Вот об этом мы с вами и должны поговорить.

– “Мы”? – И. Х. осклабился. – Вы имеете в виду – “вы и я”? Как у психотерапевта? Вы хотите, чтобы я рассказал за вас, какие образы, какие колыхания мысли порождало наше окружение? Ясно. Но когда я упомянул книгу о детстве, я имел в виду не это. Я имел в виду не излияние чьих-то эмоций, не дух эпохи, а магию, квинтэссенцию магии. Магию, применимую к любому детству, какое только может существовать. А вы хотите, чтобы я раскопал в ваших фантазиях какой-то историсофский подтекст. Или у вашего “мы” более масштабный смысл?

Мне захотелось, чтобы он исчез, но было слишком рано прощаться.

– Масштабный, – решительно ответил я. – Не знаю, кто будет измерять эти масштабы, но, в отличие от вас, я общаюсь не только сам с собой. И я вижу, что настроения, о которых мы говорили, присущи не мне одному. Мне ещё не приходилось встречать сверстника, который не унюхал тогда запаха серы. Когда прозрачность восприятия, открытость к этим тонким... флюидам сталкивается с энергией истории, происходят незаурядные вещи. Незаурядно странные или незаурядно страшные даже по мифологическим меркам. Они свершились, когда мы ещё ничего не понимали, и вот теперь лежат на дне подсознания. Как валуны. От них бегут на поверхность всякие пузырьки, огоньки, а мы не знаем, что с ними делать. Разве это не магия? А теперь скажите, как мне о ней говорить? Я забыл миллионы подробностей того мифа, который прожил, и чувствую себя так, будто меня ограбили во сне. Но ещё хуже, что я не могу говорить даже о том, что помню. Потому что я помню не совсем себя, понимаете? Моё зрение изменилось, моё мышление обладает совсем другими качествами. В конце концов, мой

опыт давным-давно перерос мою тогдашнюю речь. У меня получится научная статья, или хроника, или дурацкий мемуар, или вовсе комикс, но только не то, чего я хочу. В самом худшем случае у меня получится хороший фантастический рассказ, так и кричащий критикам и психиатрам: препарируйте! А ещё напомним, что магия детства – очень стыдная магия, говорить о ней от первого лица невыносимо, и только поэтому вы здесь находитесь. Если это можно так назвать.

Если бы И. Х. был материален, он, пожалуй, оскорбился бы. Но эфемерная сущность, которую принято обозначать как “альтер эго писателя”, не могла обидеться на своего автора, — по крайней мере, мне тогда так казалось. А автор уже не мог остановиться.

– Вместо того, чтобы помочь, вы философствуете и занудствуете, что неудивительно, поскольку именно этим занимаюсь я сам, когда начинаю вспоминать своё детство. Вы делаете всё возможное, чтобы ничего не сказать — как и я. Но я-то человек, обладающий самостоятельным разумом, а вы – нет, вы — моя проекция, вы фантом с моими инициалами вместо имени; вы здесь лишь затем, чтобы избавить меня от необходимости писать это “я”. Вам бы сказать, как умеете, хоть что-нибудь из того, чего я не могу сказать от первого лица. Из слишком странного, слишком запутанного. О пятне на обоях. О запахе серы. Об алкаше в кустах. А вы сидите и пересказываете мне мои же теории, причём на редкость патетично и погано. Вы говорите даже не за меня, а за самую тошнотворную из моих ипостасей – за этого софиста. Мне уже хочется стереть к чёртовой бабке весь этот диалог. Но ладно. Давайте попробуем ещё раз: с того места, где вы сказали об обрядах перехода.

В этот момент я увидел, что в кофейню вошёл Андрей и, на ходу снимая целлофан с пачки “Мальборо”, направился в мою сторону. Я захлопнул ноутбук.

2.

Пыльные вихри плясали по разрытой площадке под моими окнами: во дворе клали асфальт. Чёрный запах битума, грязно-белый – черёмухи и тёмно-зелёный – приближающегося дождя смешивались в комнате, как в лунке палитры.

-- Хорошо, -- сказал я. -- Мы сыграем иначе. Автор, ссорящийся с героями -- не новость, но я вижу сейчас, как вы, со всем вашим гонором, заимствованным у меня и даже приумноженным вмешательством невесть каких сил, стоите там внизу, во дворе, мнёте в пальцах сигарету и смотрите на пыль и черёмуху. Я знаю, что вы видите, и попробую сказать об этом вам и себе.

...Когда обряды перехода совершались каждые несколько часов, когда в разомкнутом прямоугольнике двора, как в магическом кристалле, пульсировал и мерцал, меняясь ежеминутно, тысячемерный лабиринт -- когда материя изливалась сама из себя, выворачивалась наизнанку, вибрировала и звенела -- когда алхимические формулы не требовали ни записи, ни расшифровки, чтобы стать понятнее родного языка -- и ничего нельзя было сказать, но всё можно было увидеть, с открытыми глазами или сквозь сомкнутые веки, на молочно-розовой плёнке, -- именно тогда, пока среди тёмной зелени сада мелькала хлопчатобумажная панамка, что-то пошатнулось под землёй, что-то сдвинулось или разверзлось, и в твои зрачки хлынул первый космический ужас.

Практическое введение в эсхатологию: мучнистые пятна на синеватой листве, торчащие из почвы штыри арматуры, приторный запах гудрона в удушливом воздухе. Пока одна из двух первых твоих богинь обстреливала тебя из трубочки незрелой черёмухой и каринкой, вторая смотрела перед собой невидящими глазами, вдыхала, судорожно поводя ноздрями, испарения загрязнённого городского грунта, раскачивалась вперёд-назад, как пластмассовая неваляшка с облупившимся идиотским лицом, и бормотала путаные двустушия, из которых тебе ясно было только одно: что мир неизлечимо болен, и

отныне тебе придётся делить с ним его болезнь. Зрение начало распознавать в тканях природы заражённые, отравленные участки, опухоли и язвы земли (так и не примелькавшиеся окончательно тридцать с гаком лет спустя), и число их было несметным. Ты едва ли помнишь, И. Х., о чём говорили старшие через год или два после атомной катастрофы, но были растворённые в молоке ржавые капельки йода, и были твои сны: в этих снах толпы людей неподвижно стояли на пустыре, как перед массовой казнью, глядя в красное небо над новостройками. Оцепеневшие и немые: твои родные, соседи и множество незнакомцев, и ты среди них, почему-то с алым первомайским флажком в руке, и флажок был похож на отрезанный лоскут страшного неба. Все стояли и ждали; наконец, по толпе прокатывался полувздок, полуропот, и теперь на небо нельзя было больше смотреть — от того, что там совершалось, можно было только бежать, спотыкаясь и не разбирая дороги, бежать из времени и из пространства, из себя самого — но тебе хватало дерзновения поднять глаза, увидеть — и мгновенно проснуться. Быть может, не поднимай ты так упорно глаза к пунцовым небесам Армагеддона в своих полумладенческих снах, вся твоя жизнь была бы спокойней и проще, но ты уже тогда не мог отделить себя от искалеченной жуткой земли, уже тогда не чувствовал за собой права *не видеть* — а ещё ты любил ужас, любил помимо желания и воли, как если бы это какие-то подземные боги любили его — *тобой*.

Пространство зияло ранами, наливалось, как гематомами, грозowymi предвестиями, и любое знамение давалось обо всём сразу и ни о чём в отдельности: не о твоей детской жизни, мелькавшей в зелени сада, не о стране или эпохе, но о мире, о мире, от которого ты только и видел, что двор и окрестные улицы, но помнил странной — иллюзорной или провидческой — памятью больше, чем мог увидеть или узнать. Чахнувшая земля прижимала твою голову к своей оголённой груди, перепачканной жёлтой сукровицей, машинной смазкой и дёгтем. Тебе ничего не оставалось, кроме как покорно, без отвращения, утыкаться лицом в дряблую плоть — и вдыхать её запах: запах сухой извести и травы, на удивление строгий и благородный, точно в нём одном обнажалась главная правда страдания, к которому тебя постепенно приучала природа.

Отравленные городскими нечистотами растения, ржавеющие ошметки металла, россыпи битого стекла продолжали пугать тебя, но чем дальше, тем отчётливее в гипсовой дымке спальных районов проступали силуэты настоящих чудовищ: они имели громоздкие, бессмысленные формы, противоречащие всем законам природы, они состояли из синтетических или гибридных веществ, веществ-мутантов, и воздух вокруг них был наэлектризован тревогой. Это были строения и механизмы, грандиозные уродливые колоссы. Они спали — но опасным, угрожающим сном. Над бугристым, расчёрченным котлованами материком летаргически мерцали недостроенные башни, и тут же, у их оснований, среди щебня и бетонных обломков, сторожко дремали металлические членистоногие, припорошённые пылью пустыни. Масштабное строительство, разворачивавшееся вокруг тебя, было связано растрёпанными жилами кабеля с глухими корпусами заводов; от последних, в свою очередь, расползались, как черви, полосатые трубы, разбегались маслянистые протоки, стальные канаты тянулись за городские пределы, к прорезающим лесные массивы высоковольтным трассам, и дальше, к тому средоточию угрозы, которое называлось «АЭС»; тебе казалось, что «АЭС» — не аббревиатура, а имя. Это выглядело бы нашествием пришельцев, вторжением инобытийного врага, если бы ты не чувствовал, бессознательно и явственно, что происходящее на твоих глазах фантазмагорическое жертвоприношение земли, вся чинимая над ней последовательная и изуверская пытка была плоть от плоти порождением человека. Ад был плоть от плоти *твоим*. Существо в хлопчатобумажной панамке всмотрелось в обречённый ландшафт — и узнало своё отражение; это мазутное, цементное, заляпанное строительной пеной, бессловесное «я — человек» заполнило полости тела, и так начались твои время, история и любовь.

3.

Мир не был беспощаден к И. Х. — помимо одетых в изорванный брезент, покрытых химическими ожогами титанов распада, в нём было много других, благосклонных и благословляющих, сил. Были уютные, косматые божки зарослей пижмы и чернобыльника: на их рыжих шкурах вспыхивало латунным огнём вечернее солнце, они беззаботно играли чем под руку подвернётся и щедро раздаривали свои нехитрые игрушки: фарфоровые изоляционные ролики, интересные стёклышки, гайки и болты. Их вотчины располагались в опасной близости к гигантским пугающим стройкам, чаще всего даже вторгались на их территории — но *в другом измерении*. В этом тесном мирке, одноэтажном, пыльном и солнечном, засыпанном строительным мусором и шелушащемся чешуйками ржавчины, И. Х. некого было бояться. Он, несомненно, был перенаселён разнообразнейшей нечистью — но нечистью беззлобной, домашней. Гномы и кобольды могли потребовать себе в жертву стеклянный шарик, пробегающий чертёнок мог шутки ради швырнуть в лицо пригоршню колючего гравия, случались, пожалуй, и такие существа, что были непрочь слизнуть пару капелек крови с ободранного локтя, но вся эта мелкая рогатая братия была заодно с тёплой устойчивостью мира, она питалась, как растения, грунтовой влагой и светом, и, надо полагать, сама ужасалась тому же, чему недоумённо ужасался И. Х.

Были и могучие, воинственные боги привольных открытых пространств: гордые конные боги, которых автор сравнил бы с фракийской кавалерией, но в художественных запасниках И. Х. имелись только пригнувшиеся к шеям гнедых красноармейцы в будёновках, в распахнутых ветром шинелях. Вот эти красноармейцы и летели в погоне за врагом по нетронутым ромашковым пустырям, и пустыри становились наместниками южных солёных степей, бесцветная глина звенела под невидимыми копытами, а розовые силуэты высившихся поодаль многоэтажек можно было принять за крепостные бастионы из другого (но какая разница!) исторического кино. Впрочем, И. Х. уделял мало внимания сюжетам: в этом синезолотом, всегда благоухавшем травами измерении главным было чувство торжественной, героической свободы (и уже тогда стало ясно,

что такая свобода может быть только одинокой, что она непременно будет горчить на вкус, как сухой летний ветер — но это интуитивное понимание не подкреплялось, разумеется, никаким опытом).

Были, наконец, молчаливые, но самые привычные и родные феи тёмных садов, бушевавших в панельных дворах неизменными черёмухой и рябиной, кудрявившихся боярышником, черневших осинами (были и дрок, и акация, и барбарис, и клён, и шиповник, и ольха, и десятки других, больших и малых; только тополей, божественных тополей, в новых районах было совсем немного). Внешний мир, в котором И. Х. проводил большую часть времени, вращался вокруг царства растений. Стучали в карманах жёлуди, назывались на сухие соломинки мясистые белые ягоды, из-под коры добывались обрывки влажного лыка; зелёное царство было неисчерпаемым. В зарослях существовали многочисленные «укрытия», «шалаша», «штабы» и «тайники» — и все они были образованы сплетениями ветвей; в этих первобытных жилищах ежедневно совершались обряды благоустройства и войны. Сосредоточенные понтифики и весталки расставляли в лиственных цитаделях обломки силикатного кирпича, накрывали их фанерой, сооружали символические укрепления — но почти никогда не играли в те сражения, к которым столь благоговейно готовились. Старательное, благочинное приготовление и было содержанием игры, пока в кустарниковый раёк не врывалось вражеское племя, расхищая сокровища и растаптывая алтари. Потерпевшие поражение возвращались к своим осквернённым очагам на следующий день, уже с новой героической сагой, но с теми же неловко обструганными прутьями, пригоршнями несъедобных ягод и пучками сорных цветов.

Тем временем взрослые собирали в полиэтиленовые кульки черноплодную рябину, из которой затем варили невкусное варенье и вполне сносный компот, на бетонных балконах новостроечных квартир сушились связки принесённых с ближайшего пустыря тысячелистника и зверобоя, сыпались в чай лепестки шиповника, сорванные тут же во дворе, — древняя жизнь вплотную поступала к индустриальной окраине, оплетала её косицами трав, нашёптывала ей заговоры знахарок, а И. Х. принимал из чьих-то натёртых ладонью ладоней одно из своих главных посвящений.

— Белый сок одуванчика — это первородное, материнское. Это те самые капли молока, засыхавшие на твоём подбородке: вскоре они потемнеют и станут несмываемыми пятнами на коже. Нежность, окислившись, становится грязно-чёрной, как слякоть земли, въедливой и липкой, как машинное масло.

— Сердечки пастушьей сумки — печать великого подражания, на котором строится мир. Формы копируют друг друга, повторяют одна другую, связуются в бесконечную цепь метафор. Смотри, как венчики мать-и-мачехи подражают огромному мутному солнцу. Смотри, как цветущий шиповник вторит огню — но и слизистым оболочкам теплокровной плоти. Смотри, как ветви подражают жилкам на твоих запястьях — и трещинам твёрдых предметов. — Смотри, но сначала запомни, как это сухонькое зелёное сердце, прикреплённое к стеблю, следует замыслу человеческого: твоего.

— Серебристо-чёрные метёлки чернобыльника — благословенное слово пустыни. Зови его на помощь, когда время вокруг пахнет плесенью и разложением, уповай на него, когда твоя смертность невыносима, и духи незаселённых пространств, вырвавшись из разломов асфальта, окружают тебя столбами дымов и будут петь над тобой свою степную протяжную песню. Не бесполезная жалость отмолит тебя, а их воинственный гимн, стрекочущий в безлюдном просторе.

— Сныть и борщевик заполняют пустоты, оставленные человеком: заброшенные котлованы, задворки отживших строений, окраины свалок. Так зарастают и раны человеческой памяти: такие же грязно-серые душные дебри поднимаются над искалеченными местами; они ядовиты и непроходимы, над ними жужжат шмели, высокое небо издаёт еле слышное электрическое гудение. Что-то шуршит и вздрагивает вдалеке, и по неровному плато соцветий прокатывается ленивая медленная волна. Так зарастут твои сны, твои страхи, мокнущие пятна стыда. Может быть, вся твоя жизнь.

И. Х. размазывал по физиономии оранжевую пыльцу, прикреплял к майке лиловые репейниковые ордена, поедал цветы акации и медуницы. Через десятки крохотных ссадин и порезов в его кровь проникали пряные соки травы. С онемевшим от незрелой черёмухи

ртом, с крапивными волдырями на голеньях, с занозами в ладонях и прозрачными колючками в ступнях, он испытующе и отрешённо смотрел перед собой, пока мир прорастал сквозь него, укоренялся, вживлял под кожу свои семена, наливался зелёной мякотью, порождал упругие завязи — и пустоцветы.

4.

— И всё это было автоматическим письмом: ни воли, ни усилия, ни понимания. — И. Х. покачал головой. — Неясное, но неискажённое бытие. Оно просто приходит и происходит. Глаза видят не то, что научены видеть, а то, что пространство вливает в них. Тело подчиняется импульсам наитий. Губы даны для того, чтобы называть явления, а не истолковывать их — и они называют. Одержимость миром, вот что это такое.

Мы помолчали. Я давно спустился во двор и сидел теперь на скамейке у края детской площадки, под рябинами, изрядно выросшими с той поры, когда всё было автоматическим письмом и сигналами потусторонних наитий. И. Х. смотрел в сторону и жевал сорванную травинку.

— Впрочем, вы и сейчас одержимы миром, — спустя пару минут сказал он. — Вернее, уже мирами. Этим взрослым, рукотворным, с его хрониками и шифрами, и тем первобытным, который почти забыли. — И прибавил саркастически: — Только поэтому я здесь и нахожусь.

Я хмыкнул и откинулся на спинку скамейки. Мой рукотворный мир весь лежал передо мной, и выглядел он опустошённым и жалким. От моего первобытного мира не оставалось ничего, кроме огромного недоумения, рябин за спиной и неповоротливых, медлительных образов, качающихся под твёрдой поверхностью осязаемых вещей. Оранжево-розовые давнишние вечера, пахнувшие бензином, листвой и арбузной коркой, всплывали из освещённого заходящим солнцем бетона.

— Не почти, а совсем забыл. Ничего я уже не помню. Только какую-то цветную околесицу. Клочки материи, сшитые в лоскутное одеяло, которое просто треплется на ветру и неизвестно что означает. И пространства, пространства. Размытые планы, проблески, сполохи — да и всё.

И. Х. сделал неопределённый жест рукой, по-прежнему глядя в сторону.

— Но и эти сполохи и клочки — если бы из их можно было связать сюжеты, вывести на свет истории, хотя бы короткие рассказы, но с подлинными, тогдашними персонажами, с непридуманым действием, с честным началом и искренним концом. Рассказать, к примеру, о том, как в четыре с половиной года мы качались на качелях. Наших старых качелей, скрипучих, развихлявшихся, — помните, как нам не разрешали качаться на них, но мы всё равно качались? — их, разумеется, уже нет. Есть вот эти, новенькие — их новизна мне даже враждебна. Хотите, покачаемся? Такого, кажется, ещё не бывало: автор качается на детсадовских качелях со своим героем. Но только ничего у нас не выйдет. Вы-то взлетите до неба — а я останусь сидеть внизу, вспоминая, каким должно быть ощущение — и не ощущая ничего, кроме пустоты в голове и деревяшки под задницей. Прохожие решат, что я наркоман, и на этом эксперимент будет окончен.

Неспешным и плавным, но грозным, каким-то волчьим разворотом И. Х. обратил ко мне своё невидимое лицо. Мне показалось на долю секунды, что рядом со мной на неудобной дворовой скамейке сидит настоящий, живой, совершенно не зависящий от моего воображения человек — и человек этот презирает меня. Короткий обжигающий ужас (не иначе, разум растаёт со мной) сменился напряжённым выжиданием. Но И. Х. молчал, и его молчание было *моим* молчанием, а когда заговорил наконец, его речь была *моей* речью.

— А ведь у вас уже начинало получаться то, ради чего вы меня изобрели. Но, как я вижу, вы физически не можете не фальшивить. Даже в разговоре со мной, — то есть с собой, извините, — вас так и подмывает подмигнуть идиллической картине солнечного детства. Были, дескать, и у нас истории... сюжеты... занимательные игры,

крылатые качели... которые выше ели... Так вот: ну конечно, я помню те качели, и какие-то предостережения и запреты тоже припоминаю. Вот только сами эти качели я попросту ненавидел. На них нужно было качаться вдвоём, доверяя половину ответственности неизвестно кому, какой-нибудь трусливой девчонке или придурочному пацану. А ведь это вы, кажется, не так давно просили меня рассказать вам о пятне на обоях? Обои в нашей комнате были переклеены раза три. Но вот вам песок под ногами, вот вам рябины: вам мало? Бросьте эти качели, пятнашки и прочие архетипы из стишков Агнии Барто. Не смейте подменять ими свои лоскутные одеяла. И без вас найдутся десятки писак, которые расскажут миру невероятно драматические истории о том, как в ветках запутывался воздушный змей и чей-нибудь папаша шёл домой за лыжной палкой. О ваших врагах и приятелях, о вашем первом матерном слове и первой сигарете, выкуренной на четверых — я даже могу показать, в каких кустах, и это был “Честер” — обо всём этом написаны целые тома. Они примитивны, они прекрасны, они все повествуют о вас — и все не о том. Совершенно не о том, что вас терзает изнутри и требует слова.

Я поймал себя на том, что бесцельно ковыряю подошвой песок. Мелкие муравьи сгрудились вокруг побуревшего яблочного огрызка; на стебле мятлика балансировал, как канатоходец, элегантный чёрно-красный клоп из тех, кого полагалось уважительно именовать «жук-пожарный». Как плохо проявленные слайды, мелькнули и канули в нарастающую тоску: тусклый пасмурный блик на бескозырке оловянного матроса, застывшего с трёхлинейкой наперевес; полосатый бок резинового мяча, почему-то всегда вызывавшего восхищённую нежность, точно это был щенок; исцарапанная пластмасса грузовичка, везущего стройматериалы эльфийским прорабам — и всё с налётом сероватой пыли, всё отмечено связью со скудной материнской почвой.

Мир, влившийся в мои глаза и заснувший на дне беспокойным сном; короткие жизни явлений, по касательной соприкоснувшиеся с моей в те времена, когда разум ещё не умел ни от чего отчуждаться; дрёмные голоса, шёпоты и вздохи из-под спуда беспамятства, — так скованные злыми заклятиями призраки взывают к магу: освободи нас. Измученный неврозами маг очерчивает носком кроссовки волшебный круг, размётывая растоптанные окурки, безымянный растительный

сор, золотистые пивные крышки – «Степан Разин», «Балтика», «Хольстен» – и топчется посередине, словно пытаюсь найти под ногами невидимый узел, где пульсирует углая святость земли, невесть откуда черпающей силы. Моргает, сжимает пальцами переносицу, ёжится, мнётся – да ну какой из тебя освободитель, алхимик-недоучка! – но всё-таки начинает говорить.

5.

Посвящённый в ужас окружающей жизни и в неразлучное с ним изменчивое, прихотливое счастье, И. Х. отдавал все силы своего роста общению с этими стихиями: как путешественник, поглощённый созерцанием иноземных пейзажей, он пребывал в ненасытном бдении, иногда – восторженном, иногда — тревожном.

Однажды, по дороге к какому-то детскому врачу, И. Х. увидел, как впервые, предзакатную зимнюю даль с окоченевшими столбами фабричного дыма, увидел знакомый проспект — невероятно просторный и невероятно пустой, точно вымерший, или, по крайней мере, обречённый на вымирание; высокие окна полыхали мёрзлым огнём, рыжим, как мандарин, но вовсе не уютным — безжалостным и потусторонним. Надсадно скрипел под галошами утоптаный снег, редкие перистые облака отливали алым, однообразные стены домов тянулись за решётками голых деревьев; каньону проспекта не было конца, и, чувствуя, что сейчас эта зловещая пропасть схлопнется и поглотит его, И. Х. запел изо всех сил «Интернационал», самую героическую из известных ему песен. Мать одёрнула его с раздражением и, как показалось И. Х., с испугом.

Один и тот же привычный район может быть уютным логовом и ощеренной бездной; всякая вещь может превратиться из доброй волшебной игрушки в проклятый амулет. Все предметы и явления в мире — оборотни, повинующиеся особым циклам и ритмам, гораздо более сложным, чем лунные; их метаморфозы нельзя предсказать с помощью астрологических вычислений, их власть нельзя одолеть серебряной пулей. В мире есть несметное количество энергий, преображающих самую сущность вещей, и главная из них называется

светом. И. Х. не пришлось прикладывать никаких усилий к обнаружению этой истины: она лежала на поверхности всего зримого.

Иногда приходилось вставать затемно и куда-то идти, семеня рядом с матерью по предательской наледи и окаменевшей грязи; тогда И. Х. не отводил глаз от розоватого зарева, равномерным напылением покрывавшего чёрное небо. Руки в шерстяных варежках нестерпимо чесались, слишком туго затянутый шарф не давал свободно вздохнуть, в ноздрях колело от утреннего мороза, но И. Х. даже не приходило в голову захныкать: он смотрел на кровавистое гало, вслушивался в доносящееся из пустоты высокочастотное жужжание и боялся крошечным, безголосым страхом, что это мертвенное свечение однажды (а если уже сегодня?) окажется сильнее настоящего света, и восхода больше не будет. Постепенно зарево начинало бледнеть, и по мере того, как на востоке расширялась оранжевая задымлённая прорезь, И. Х. охватывала эйфория. Дома ждал янтарный, блаженный свет, в медленных потоках которого, как живые мальки, играли радужные пылинки; свет преображал в бездонные озёра потёртую полировку деревянной мебели, одушевлял фаянсовых борзых, разлёгшихся на полках. Всё чахлое, пожелтевшее делалось золотым и медовым, всё обшарпанное – испытанным и верным; коробок тесной комнаты раздавался, и И. Х., забравшись с ногами в промятое кресло, открывал книжку, но едва ли рассматривал картинки в ней пристальнее, чем буйство янтаря и мёда вокруг.

Или летом, припав к растрескавшемуся подоконнику, глядя вниз, на перекрёсток двух проспектов и незастроенный «пяточок», где армянин торговал дынями и арбузами (арбузы, сваленные в металлической клетке, напоминали сгрудившихся в вольере диковинных поросят с кручёными сухими хвостиками), где толпились у ларька хмурые, темнолицые люди, где оседала на траву накачавшаяся «Жигулёвским» пожилая толстая тётка, – глядя вниз и ни армянина, ни тётки, ни хмурых людей не видя, но расплёскиваясь, разбрызгиваясь, распыляясь вместе с городским силикатным зноем по поникшей зелени, по поросычьим арбузным бокам, по рифлёной жести, по бетонным тумбам, по облицовке панельных стен; превращаясь в сгусток июньского слепополуденного сияния, вырываясь из комнаты, как воздушный шарик из неловкой руки, неудержимо, беззвучно, необратимо: наружу, к миру, на свет. Или

ночью, когда фары въезжавшего во двор автомобиля прочерчивали две фосфорных полосы на потолке, и в них, как на киноэкране, пробегали законные тени, раскачивались могучие ветви с резной широкой листвой, вздрагивало вычитанное у Жюль Верна тёплое море экваториальных широт, предчувствовалось дыхание южного сада. Или утром, когда в отуманенных зарослях раскрывались розетки шиповника, и И. Х., торжественно крутя велосипедные педали, объезжал прозрачное королевство – сам себе и Артур, и Мерлин, и говорящий сказочный конь. Или осенними вечерами, под густым оловянным небом, фехтуя багряной веткой подмёрзшего дрека. Или в весенний полдень, пиная груды зернёного слизистого снега, похожего на икру морского чудовища, предвкушая, как мягко будет стелиться золотистая пыль по просохшему, помолодевшему после спячки асфальту. Или в сумерках, в квартире, у настольной лампы, чья желтизна, казалось, заражала все предметы тропической лихорадкой, так что каждая стопка бумаг, каждая наволочка, каждое чайное блюдо — всё, что только могло попасться И. Х. на глаза, бредило в горячке, изливало в комнату испарения болот и запахи лазарета.

Тайна земли впилась в сердце И. Х. в тот самый миг, когда его ручки сорвали первую травинку, и тайна страха неторопливо подкралась следом, но никто уже не сможет сказать, когда И. Х. предстал перед тайной света. Сколько раз ему казалось, что он приобщается к свету впервые и весь предыдущий опыт его зрения был сплошной слепотой? Каждый раз по-новому ошеломлённый, не верящий себе, прошитый сиянием насквозь, как лазерными лучами (от раскалённой белой дороги, от книжной страницы, от чьей-то золотящейся кожи, от чьих-то индиговых глаз, от собственного — полыхающего внутри, но почему-то видимого снаружи сердца), И. Х. всё дальше и дальше уходил от ранних озарений, предавал их опять и опять ради новых огненных инициаций, и те не заставляли себя ждать.

Свет и вновь свет — самоочищающийся, неиссякаемый, непредсказуемый, мерило всех смыслов, условие и обоснование всякой формы, не требующее доказательств присутствие божества — испепелял и пересоздавал, как хотел, любую частицу мира, и И. Х. не успевал заметить, как в сердцевине каждого фотона просверкивало зёрнышко воспоминания о детстве — если только не о том, что было до детства.

6.

Мир И. Х. состоял из тайн, и он не был *обитаемым* миром.

По крайней мере, — разумеется, потребовались годы, чтобы сформулировать эту мысль, — он не мог бы никому послужить ни пристанищем, ни вместилищем, ни жилищем; он вообще не был предназначен для того, чтобы *служить*. Напротив: миг за мигом он триумфально утверждал безграничность своей свободы; он жил свою титаническую, неисповедимую жизнь, он излучался могуществом, и нельзя было бы найти ни крупинцы материи, — ни жутковатой спичечной головешки, ни пряничного обломка сургуча с бандероли, ни клочка обёрточной бумаги с крысиными щетинками волокон, — в которой не полыхала бы бесцветным огнём невыразимая личность.

“Все имена существительные делятся на одушевлённые и неодушевлённые”, — уже немного позже, в школе, читал И. Х. Гадко и одуряюще пахнувшая паста нехотя выползала из-под шарика авторучки, то и дело образуя хвостатые сгустки. Ни одна буква не получалась похожей на остальные, и за каждой чёрточкой проступал расплывчатый образ — ещё не лицо, но уже характер: робкий, сердитый, изумлённый.

Одушевлённость мира делится только на бесконечное множество имён существительных.

Нерукотворные вещи соотносятся в нём с рукотворными по законам первородства и старшинства.

В этом мире нельзя *поселиться*, и *населять* его — невозможно: он не допускает пустот.

И если человек каким-то таинственным образом в нём *пребывает*, то не как жилец и не как постоялец, не как внешний пришлец, а только как внутренний взгляд и внутренний голос, как электрический импульс, зародившийся в плотной ткани материи, — но откуда тогда эта необоримая, трагическая отделённость всех ото всего?..

Люди проплывали мимо И. Х., как запечатанные в бутылки послания неведомых мореходов: все загадочные, все просолённые в дальних странствиях, все адресованные не ему. За каждым человеческим обликом приоткрывались на мгновение и исчезали порталы в другие края, в неизведанность общей земли, увиденной иными глазами, и всё, что мог сделать И. Х., — это двигаться с ними бок о бок сквозь густой океанический воздух. Люди сталкивались с И. Х., словно молекулы, и отдалялись; люди были сделаны из чего-то полупрозрачного: можно было заглянуть вовнутрь, но ничего нельзя было разглядеть.

С подозрительным недоумением И. Х. обнаруживал в квартирах Кирилла или Дениса *немного не такие* ковёр, этажерку, мыльницу, клеёнку на обеденном столе, — до оскорбительного похожие на те, что он видел каждый день в своём собственном доме, но всё же отличающиеся; казалось, что из этих мелких отличий, как из вулканических фумарол, вырывается бесцветный газ с острым запахом, — так И. Х. научился распознавать *чужое*. Жизнь Кирилла или Дениса, сходная с жизнью И. Х., но *не такая*, скрывалась за чем-то, что было больше Китайской стены (как называли обитатели микрорайона невообразимо длинную девятиэтажку из множества корпусов) и темнее сливного отверстия в ванне, которое хотелось поскорее заткнуть резиновой пробкой. Тем назойливее, впрочем, зудело иногда на кромке сознания порочное желание на несколько часов поменяться с Кириллом или Денисом местами, хотя бы одним глазком, но увидеть изнутри их потустороннее бытие, перебрать их игрушки их руками, спуститься с их велосипедами по их лестницам в их дворы, — и даже, возможно, получить от их родителей им одним причитающиеся подзатыльники, — но химический запах *чужого* был слишком резким, чтобы этот смутный соблазн мог стать полновесной фантазией.

Единство, — удивительное, словно стыковка космических кораблей, — возникало разве что в запале игры, когда Кирилл, Денис, Олеська, Ромчик, И. Х. (и сколько их было ещё), расхристанные, вспотевшие, с потрескавшимися от непрерывного облизывания губами, становились пёстрыми вспышками, несущимися за мячом или увёртывающимися от омерзительной “сифы”; в эти минуты их пространство и время, сошедшиеся в одной мелькающей точке,

становились подлинно общими — но стоило бегу замедлиться, как миры размежывались опять.

Со взрослыми не бывало и таких молниеносных схождения. Помимо природной отчужденности, каждый из них носил непроницаемый гермошлем, отлитый, по всей видимости, из вещества, которое на их языке именовалось опытом; их разговоры доносились издали, из-за толстенной перегородки, обитой чем-то мягким и синтетическим. Особенно странно звучало из их уст имя И. Х., произнесенное в третьем лице, — как если бы он внезапно обнаруживал себя героем какого-то радиоспектакля из тех, что включали на середине и выключали, не дослушав до конца. И. Х. напрягал слух, силясь разобраться в содержании говоримого, но, каким бы оно ни оказывалось, главным и неизменным всегда оставалось чувство непреодолимой дистанции: что могут там, в другой галактике, сказать о положении дел на планете И. Х.?.. Обсуждая друг друга, взрослые использовали массу определений, столь же весомых, сколь и условных, что тоже могло настроить на астрономический лад: они говорили “дед-Лёша — алкоголик” и “Фаина Андреевна очень интеллигентна”, как будто хотели сказать “Эпсилон Ориона” или “Альфа Центавра”. И. Х., в свою очередь, знал только, что приземистая фигура хромоногого дед-Лёши с орденскими планками на засаленном пиджаке закутана во что-то серое и мохнатое, вроде шерсти добродушного волка, а за Фаиной Андреевной, выгуливающей по вечерам эпилептичного сеттера, тянется призрачный шлейф из нафталина, крылышек моли и кофейного порошка. Это и было то небольшое из их наглухо запертых судеб, что он мог рассмотреть; это и запомнилось ему навсегда.

Вплотную подходили друг к другу человеческие субмарины. Неясные акварельные тени колыхались за иллюминаторами. Пальцы сухощавые, тонкие, вечно покрытые багровыми ниточками кошачьих царапин, и пальцы рыхлые, словно бескостные, с обстриженными под самый корень розовыми ногтями, передавали под партами вкладыши от турецкой жвачки и обменивались щипками. Как хворостины, схлёстывались в воздухе взгляды карих, голубоватых, прищуренных, распахнутых, угрожающих, наглых, заискивающих глаз. И непреклонное одиночество окружало сумрачным нимбом всякую голову, — белобрысую, чернявую, русую, покрытую мятой

бейсболкой или украшенную нелепым бантом, — одиночество настолько самодостаточное и гордое, что И. Х., говоря по совести, совсем не хотелось его нарушать.

Четвёртой тайной оказалась тайна Другого.

— Как будто сейчас иначе, — откуда-то из-за окна, из тёмно-лилового проёма, донёсся голос И. Х., и мне показалось, что на этот раз в нём не было сарказма. — Как будто сейчас хоть что-нибудь изменилось.

Моя рука приподнялась над клавиатурой и замерла. Можно было расслышать, как под подушечками пальцев пружинит воздух. Затем, как в сюрреалистической увертюре, вступили комариные арпеджоне, порывистые всплески деревьев, внезапное форте захлопнувшейся в соседнем подъезде двери и пианиссимо далёких женских шагов.

— Увы, — сказал я. — Изменилось, но не в лучшую сторону.

Всё туманнее, всё фантомнее становятся год от года потаённые смыслы земли, но тем крепче твоё тождество с ними: словно ты не уходишь вовсе, но приближаешься, тревожно-уверенной походкой, сквозь нетёмную июньскую ночь, как в юности возвращался домой после очередного постыдного и вдохновенного пира, во хмелю, в победоносном отчаянии. По широкой окраинной улице, по лунноцветной асфальтовой полосе, сквозь дочиста прополосканный безмолвием воздух, набрякший от запахов трав, — ты не удаляешься прочь, но идёшь обратно к своей колыбели, в родоначальное лоно, к желткам одуванчиков, песчинкам и прутикам, лужицам и ветеркам. — А что с человеком? — Этот, напротив, становится реальнее, осязаемее, телеснее — но отодвигается всё дальше и дальше. Порою тяжёлый и чёрный, как образ святого под слоем олифы или африканский эбеновый идол; порою — беззащитный, светящийся: розоватая терракота или мрамор, заласканный ветром, — и всегда иномирный, всегда герметично запаянный; до него хочется дотянуться — и не выходит, с ним хочется заговорить на одном языке — но нельзя.

Другой. Самая совершенная из иллюзий.

7.

Этот-то замкнутый, непостижимый человек и созидал ландшафты эпохи, — стихийно, но в согласии с каким-то зашифрованным планом, точь-в-точь как природа созидала и обустроивала свои таинственные уголья. Неизвестно, сознавал ли он, что именно созидает, или только закатывал в транс белые шаманские глаза, — но каждое из его видений моментально воплощалось в пространстве и веществе, и это были недобрые образы. Глядя вокруг себя, И. Х. не мог не разделить всё то, что потом он стал называть материальной культурой, на произведения суровых широкоплечих великанов и поделки крикливых пигмеев. Мир великанов, несомненно, умирал. Не то иррациональным шестым, не то совокупностью пяти биологических чувств И. Х. улавливал, что огромное серое здание кинотеатра, куда он ходил пару раз посмотреть польские мультики и один раз — “Землю Санникова”, могло бы выглядеть мощным и мускулистым, налитым брутальной бойцовой силой, — но выглядело бесполезным и неприкаянным, как бесформенный обломок бетонной плиты, торчащий из грунта. Так же и широченная, как будто навыворот сшитая, магистральная улица, на которой этот кинотеатр был расположен, отчего-то казалась совершенно заброшенной; на фоне её скудной желтизны хорошо смотрелись бы медлительные караваны, в полубреду влекущиеся из Каира в Багдад. Построенные совсем недавно, уже на памяти И. Х., дома производили впечатление допотопных развалин. Ноябрьские транспаранты обвисали в постыдной немощи. На скуластых профилях рельефных солдат, глядящих куда-то за горизонт со своих монументов, проступало туповатое безразличие. Могущество усвистывало из оболочек предметов, как воздух из проткнутой камеры. Постаменты крошились, ветшали автомобили, выгорали до покойницкой бледности знакомые краски — и ядовитым цветением бушевали краски новые, чужеземные. Всё больше и больше становилось мусора на тротуарах; затем хлынули ларьки — алюминиевые курятники, притоны сладкой нечистоты. То, что происходило с эпохой, впору было назвать новой гигантомахией, хотя гигантов одолевали в ней не великие светлые боги, а полчища карликов в пёстром блестящем тряпье. До И. Х. доносились отзвуки их ожесточённой неряшливой возни, и какой-то не по годам разумной

частью себя он понимал, что даже самый унылый из районных универмагов был благочестивее и человечнее новомодных разнузданных торжищ, — но как же упоительно было бежать мимо кособоких ларьков, зажав в кулаке цыганистый яркий трофей, взметая подмётками клубы пакостной пыли, по горячему заплёванному асфальту, сплошь чёрному от подсолнечной шелухи.

Ни одна из этих перемен не воспринималась И. Х. как собственно историческая перемена. Все они носили скорее геологический характер, наподобие извержения вулкана или сдвига тектонических плит; медленная агония воинственных исполинов с их пятиконечными звёздами, гранитными гимнастёрками, с их бычьими комиссарскими лбами и весомой грубой архитектурой была таким же природным явлением, как мел-палеогеновое вымирание. Однажды осенью И. Х. узнал, что ему никогда не придётся носить красного галстука, украшавшего практически все известные ему изображения достойных подражания ребят; он отнёсся к новости с философской досадой, как к внезапно испортившейся погоде, но ещё долго продолжал то ли по инерции, то ли из упрямства повязывать красные галстуки героям своих рисунков. И когда впоследствии ему, уже не маленькому, пытались внушить, что ничего хорошего этот эффектный атрибут не обозначал, он только отмахивался: его тогдашнему семилетнему разуму дела не было ни до каких идеологических обоснований, он всего лишь следовал иконографии гибнущего мифа, в наивных пиктограммах летописал тёмную ностальгию по уходящему, причудливо сочетая её с босяцкой удалью наступившего, — и тем самым был кристально-честен и объективен на зависть самому Фукидиду.

Новый порядок вещей был не только сладострастно-нечист, но и опасен в самом обыденном, бытовом смысле, который, однако же, примыкал к апокрифическим, полуоккультным смыслам детских легенд. Гробы на колёсиках в действительности разъезжали в те годы по перекрёсткам, цеплялись за антенны чёрные простыни, что-то демоническое бурлило в канализационных люках и припадало к окнам подвалов, вурдалаки и зомби бродили, пошатываясь, по дорожкам помрачневшего лесопарка, и силуэт Фредди Крюгера маячил под фонарём, пока из ночного двора грохотал матерный рёв, полный боли и пьяной нечеловеческой злобы. И. Х. находил атмосферу

непрестанной опасности дурманящей и беззаветно-родной. Он не мог помыслить окружения, над которым не нависало бы щербатое лезвие страха, и затосковал бы неизъяснимой тоской пойманного зверёныша, если бы чья-нибудь заботливая рука изъяла его из привычного лабиринта, напичканного клацающими ловушками и кишящего монстрами, как в играх про принца Персии и графа Дракулу, — и поместила в кроткий, миролюбивый уклад. Занятия и забавы И. Х. медленно, но неуклонно смещались всё ближе и ближе к источникам риска: в подъезды, лифты, на чердаки и пожарные лестницы, к обёрнутым волокнистыми лохмотьями трубам теплоцентралей, в затопленные фундаменты долгостроев; никакие угрозы и увещевания старших не могли удержать его вдали от этих хтонических святилищ, и по мере того, как раздвигался горизонт освоенных земель, рассекаемый надвое рубчатой шиной первого взрослого велосипеда, к притяжению сумрачных тайн добавлялось чувство хозяйской уверенности: всюду были его безрадостные имена, всюду были его заржавленные гербы.

И. Х. седлал велосипед рано утром, когда можно было безбоязненно нестись по самой середине проезжей части, и гнал во весь опор к учебному стрельбищу, в два ряда оцепленному покосившимся забором с колючей проволокой и непролазным кустарником; затем его путь лежал мимо мятых ангаров и пустующих автостоянок к рыжей речушке, фланкированной с обоих берегов высоковольтными вышками: там можно было найти и несколько раз объехать двухэтажное строение с низкими запылёнными окнами, — единственное, что излучало какой-то уют, пусть казённый, но на мягкий провинциальный манер. Оттуда было совсем недалеко до разрушенной дореволюционной дачи, о которой И. Х. (как, возможно, и другая впечатлительная мелюзга) как-то раз вознамерился написать готический роман с убийствами и вампирами, но, к чести своей, отступился от этого замысла, едва осознав, что чуть ли не под копирку перекачивает в клетчатую тетрадь цитаты из сразу нескольких недавно прочитанных книжек. Правда, в сторону дачи И. Х. направлялся нечасто: ему достаточно было помнить о существовании зловещих мёртвых проёмов и обугленных стропил, но для постоянного созерцания они были слишком нарочитыми, слишком театральными. То ли дело больничные корпуса, в закоулках и тупиках между

которыми блуждали невыразимые и неочевидные страхи, — или гниловатое озерцо, где скользили водомерки и плавали алюминиевые банки из-под водки “Чёрная смерть”, с ухмыляющимся черепом на боку, — или рыночные задворки, запятнанные следами всего того нелегального, непристойного, варварского, что в одночасье стало нормой быта и бытия. Велосипед уносил И. Х. в глубину желтушных пасмурных перспектив; иногда чиркали по голням сорняки, иногда колёса мелко тряслись на щебёнке, иногда хотелось петь (и И. Х. пел), иногда — пригibasь к рулю, борясь с мурашками. Немирный обвалившийся мир приветствовал его и испытывал, — и если он прошёл испытание, то потому, что распознал главное правило новой игры и превыше всех добродетелей теперь ставил дерзость.

Был ли счастлив И. Х. свидетельствовать оргии духов упадка?.. Он и сейчас не знает. Немало было самозабвенного азарта, и наркотическое наслаждение приторным дурманом, безусловно, имело место; но в какой степени они соответствовали его личностной природе, а в какой были предопределены элементарным отсутствием выбора — он никогда не сможет сказать. Колыхались за пределами зрения фата-морганы других времён, иных государств: там вдоль фасадов зданий маршировали стройные колонны, венчаные резной листвой, там отзванивали о мрамор студёные струи фонтанов, там сияли сапфирами витражные окна, там благородные лица склонялись в клятвенной решимости к эфесам мечей, — и к каждому далёкому образу И. Х. пылал высокой мучительной ревностью; ему хотелось ворваться в эти грезящиеся королевства, среди языков огня и мятущихся знамён, неудержимо и грозно, — и отвоевать их у прошлого, и наречь их своими. Но на деле им доставались резервации книжных фантазий, а подлинная реальность продолжала вырождаться и хиреть, покрываться наростами ларьков и лавчонок, одеваться в растянутые олимпийки, лепить на вывески кривые буквы из самоклеящейся плёнки, источать зловоние перегара и общепита, выташнивать из телевизионных экранов то мыльные ополоски бестолковых и привязчивых песен, то пулемётные гильзы скомканных войн, где не было ни внятных “наших”, ни внятных “врагов”, но были только разглагольствования корреспондентов и общие планы дымящихся пепелищ.

И. Х. истово вчитывался в повествования о недостижимом и давнем, но на практике верой и правдой служил своей эпохе. В раздразе и смуте он был совершенно свойским, как беспризорный собачий недоросль среди свалок, гаражей и промзон.

— Пошловато для финала главы, — хмыкнул И. Х.

8.

Мы шли с И. Х. по узкой цветущей каёмке вдоль трамвайных путей — по той сладчайшей полоске травы между асфальтом и сталью, которую перешагиваешь в одно движение, успевая за эту секунду напиться тепла и горестной мощи, как древний Антей, припадающий к матери-Гее, — и одна тень скользила по красным жилкам лапчатки и кругляшкам подорожника, но один или два человека смотрели себе под ноги — я не знаю.

Мы играли.

— Пятьдесят пять, — сказал И. Х.

— Здание с жёлтой облицовкой, — ответил я, не раздумывая. — А за ним кирпичное, красное. Магазин “Детский мир”. Мне года четыре. И за каким-то чёртом я выпросил этого волка из “Ну, погоди”. Он был сделан из такой пористой синтетике: так до сих пор и не знаю, как она называется. И очень быстро он начал темнеть и крошиться, как будто умирал от рака. Помнишь? Стало жутко, и пришлось завернуть его в тряпку, спрятать в коробку и никогда туда не заглядывать. Это было как сдать его в хоспис. Интересно, выбросили ли его, или где-то на антресолях так и лежат эти мощи. Их стоило бы захоронить с почестями хотя бы сейчас. Но что-то я отвлёкся. Ещё там был метрострой. Нагромождение чёрных каркасов. Настоящий вход в ад. Не в туманное царство, куда спускался Эней, а именно в пекло с кипящей смолой. Дальше... дальше всё хорошо: вспоминается только лето, золотистый свет, сизая дымка. Предвосхищение южных

пейзажей. Крыма, может быть, или даже Кавказа. Это у магазина “Хозтовары”. Наверное, в июле месяце. В “Хозтоварах”, скорее всего, нужно было купить солидол для велосипедной цепи. И кафе-мороженое, — за парикмахерской, на углу. Пломбир. Почему-то с вареньем вместо сиропа. Если молочный коктейль, то с зелёной соломинкой. Лимонад “Фиеста”. Амброзия с пузырьками. Удовольствие не сказать что частое, но божественное — не потому, что всё это было вкусным, а потому, что оттуда приоткрывались ещё какие-то... слои бытия. Можно было заглянуть во что-то беззаботное, праздничное. Лёгкое. Даже курортное. Хватит?..

— Хватит, — согласился И. Х. — Твоя очередь.

— Двадцать, — сказал я.

— Слишком просто, — пожал плечами И. Х. — Сияние за окном: бьющий в стёкла сноп пламени. Это на повороте у той самой детской поликлиники, про которую ты никогда ничего не расскажешь, хотя мог бы. Первое благоговение перед восходом солнца. Пылающие дома и яркая-яркая лазурь, настолько чистая, что хочется ей во всём уподобиться. Ромашковые поляны у подножий, или предгорий, или как ты ещё назовёшь подступы к самому высокому дому в микрорайоне, — палевому и песчаному, ещё не до конца заселённому. Проезжаем ещё немного, и там будет водонапорная башня, которая тебе снилась, — я думаю, потому, что её снесли прежде, чем ты успел посмотреть на неё вблизи. Стало быть, башня: далёкая, манящая, тоже пылающая в лучах солнца. А снилась она тебе в грозových облаках. Если выйти на той остановке, то заброшенные яблоневые сады и малина. Малина червивая, мелкая, и ты её пожираешь пригоршнями, вместе с червями. Рыжий пёс, Дик, в честь пятнадцатилетнего капитана. Ты его кормишь печеньем, а он ест — без восторга, прямо скажем, но с благодарностью. Канавы с хвощом. Гнилые брёвна и букашки под отмершей корой. Это вот что: это столкновение с девственным, дремучим миром. Но не будем углубляться туда. Если проехать немного ещё, то холм, а оттуда открывается вид на всю окраину, с подъёмными кранами, экскаваторами, котлованами, рабочими в касках — почти освоение Марса! А потом опять что-то гномье, из сказок немецких писателей: игрушечные домишки среди

тёмных деревьев. Или так, если ехать в обратную сторону: осенние сумерки. Белёдые, влажные. Хмарь над растоптанной грязью, и обрывок не то тумана, не то низкого облака, затянувший последние этажи недостроенной общаги. Ты его увидел из окна трамвая, и эта диффузия земли и небес тебя так потрясла, что ты захотел написать о ней стихотворение. Ясное дело, ничего не получилось. Но вот сейчас я восстанавливаю справедливость и возвращаю твой клочок тумана литературе. Достаточно или продолжать?..

— Достаточно, — от упоминания неудавшегося стихотворения стало тошно, как будто меня с головой окунули в кисель того вечера; моё бессилие перед его образом ничуть не изменилось с тех пор.

— Я ещё долго мог бы, — сообщил И. Х. хладнокровно. — Играешь дальше или сдаёшься?

— Играю.

— Тогда пятьдесят восемь.

— Не помню. Вернее, так: сам маршрут помню. Но не помню почти ничего, что было с ним связано. Кроме, разве что, статуи Прометея — это же был Прометей? — посреди какого-то газона. Или пустыря, что одно и то же. Статуя была совершенно дрянная, это я сейчас понимаю, но тогда она вызывала только недоумение: к чему он прикован? И почему похож на балерину?.. Вот так начинают распознавать бездарность и абсурд. Гранит, бронза, изморозь. Да, и ещё самое страшное небо, какое мне приходилось видеть. Фиолетовое, безжизненное, с багровым отливом. В ноябре или конце октября. Темнело уже рано, но снега точно ещё не было. Именно на пятьдесят восьмом пришлось после школы тащиться на соревнование. И вот тогда над городом было это синюшное, трупное небо, сплошь в каких-то кровоподтёках. Вроде чушь, но потом такие вещи сняты в кошмарах. Больше, вроде бы, не вспоминается ничего.

— Кажется, трамваи закончились, — сказал И. Х., не то задумавшись, не то намеренно игнорируя мои “не помню”. — Но были ещё автобусы. Твой ход.

— Сто семьдесят восемь, естественно.

— Самый главный,— И. Х. ностальгически прищурился.— Здесь даже непонятно, с чего начинать. Ну, пусть будет так. Передняя площадка, чтобы было видно лобовое стекло, и ты стоишь, не держась за поручень. Хочешь балансировать на поворотах, как сёрфер на волне. Физиологическое ликование от ловкости, от движения и свободы. Несущиеся навстречу улицы. Солнце и бетон за листвой. А едешь ты на рынок, где будешь выменивать картриджи для “Денди”, и там же купишь у цыганки семечек в газетном кульке. Кулёк истреплется через минуту, и тогда содержимое перекочится в карман. Вообще-то ты мог бы их купить и поближе, но убеждаешь себя, что цыганские вкуснее. А на самом деле картриджи и семечки тебе не так уж и важны. Ты катаешься на сто семьдесят восьмом потому, что это самое долгое странствие, почти кругосветное путешествие, а рынок просто прилагается к нему по законам жанра. Синдбад же не может вернуться с пустыми руками. И едешь ты далеко-далеко, куда не добраться на велике, где начинается терра инкогнита. Там железнодорожные платформы среди тополей. Там мосты, эстакады, фабрики. Где-то там ты отбивался от злобного чёрного кобеля, и его пристрелил милиционер, — ведь ты сам в то время ещё называл бы его “милиционером”? Или уже “ментом”? И где-то там же ты удирал от мужика с красными глазами, который тебя заманивал в подъезд. Ни мент, ни милиционер не появился, но ты умел быстро бегать.

— Чёрного кобеля, кстати, до сих пор жалко, — сказал я.

И. Х. кивнул.

— Зато ты всё узнал об охране правопорядка.

Я затаился сигаретой. Под ногами пружинили упрямые притрамвайные травы. В первый раз за всё время я чувствовал в И. Х. друга, и с каждым словом крепла уверенность, что некий освободитель был ниспослан мне в его невидимом облике. Мне захотелось сказать что-нибудь жизнеутверждающее.

— Ну вот нормально же общаемся, — бодро произнёс я. — А помнишь, с какой тягомотины начинали? Как на симпозиуме зануд.

— Какой автор, такие и симпозиумы,— парировал И. Х. — Кстати, если уж вспоминать, с чего ты начинал — именно ты, а не “мы”, — то первые главы вообще годятся только в макулатуру. Две главы, если не три.

С этим было трудно не согласиться, но враждебность, почудившаяся мне в тоне И. Х., была настолько неожиданной, что захотелось дать ему по морде.

— Ясен перец, в макулатуру! Потому что я хотел, чтобы там была твоя прямая речь, твои воспоминания — ну или хотя бы разговор, как сейчас, но не мои монологи. Ты мне испохабил композицию повести, ты меня брал на слабо, теперь ты оборзел до того, что возомнил себя критиком. Ты хотел доказать, что ты личность? Я верю. Устраивает? Но ты мне всё равно будешь рассказывать от первого лица. Прямо сейчас.

— Хер тебе, — усмехнулся И. Х. — Это ты мне прямо сейчас будешь рассказывать от первого лица. Ты. Мне.

9.

Я понимаю, о чём я должен рассказать, и у меня нет для этого слова. Мне три, и я ловлю в Марианской впадине облупившейся ванны ускользнувший из пальцев обмылок. Он истончается, тает, превращается в мутную воду; ничего больше не остаётся, кроме мутной воды. Мне четыре, и я заморожённо гляжу, как дёргается на песке оторванная лапка паука-сенокосца. Она не вырастет заново, её невозможно приклеить, она оторвана моей собственной рукой: насовсем, навсегда. Мне пять, и мои случайно найденные в шифоньере ползунки идут на одёжку плюшевому медведю; я знаю, что недавно они были моими — и не понимаю, что могло быть в то время мной. Мне шесть, и я осознаю, что уже не увижу, как развевается на ветру изумрудный рыцарский плащ моего любимого тополя: его повалили наземь, четвертовали, и я сижу на его тёплых останках. Мир тратится, как карандашный грифель. Я не знаю, уменьшаюсь я или расту.

Я должен сказать о том, что сломалось внутри меня раньше, чем я сломал в песочнице первую пластмассовую лопатку. Я должен сказать о том, что освятило меня раньше, чем я впервые встретил в книжке странное слово “бог”. Я должен сказать о проклятии, о нечестии жизни. Я должен сказать о благословении жизни и о триумфе. О смрадной отраве, проникающей в кровь ещё до рождения, по кабелю пуповины, — и о золотом очистительном пламени, вливающимся сквозь дырочки черничных зрачков, как только младенец открывает глаза.

Я глажу игрушечного барашка, я убиваю игрушечного солдата, я хочу нюхать висящий в шкафу зелёный материнский халат, я хочу убежать от матери в Африку, в Исландию и на Кубу, я хочу резаться с отчимом в морской бой, я хочу расстрелять его из винтовки, я рисую акварелью кораблики, я размазываю сгусток соплей по краю столешницы, я боюсь всего и совершенно ничего не боюсь. Тёмно-красный пещерный хаос разрастается в моём костном мозгу. Алмазное сияние разгорается у меня на сетчатке. Какие-то могучие силы швыряют меня в осклизлые ямы. Какие-то могучие силы бережно поднимают меня и несут.

Я не знаю, откуда вышел мой стыд, и не знаю, с чего началась моя гордость. Ни один психолог не сможет проникнуть туда, где первая муха жужжала над ультрамариновой эмалью ночного горшка. Ни один священник не сможет ответить, что за гимн беззвучно звенел над домами, когда моя коляска катилась по весеннему тротуару, и брызги капли разбивались об её клеёнчатый верх.

Я подозреваю, что у самых истоков моего бытия, за сохнувшими на леске пелёнками, совершилось какое-то космических масштабов предательство, сопоставимое с тем, которое совершил фиванский царь, отдавая рабу своего новорождённого сына — посиневшего от крика, сучащего пухлыми окровавленными ножонками. И у меня есть основания думать, что с предательства начинается каждая жизнь. Но в чём оно состоит — неизвестно.

Я отчётливо вижу порой, что там же, в пронизанном солнечными лучами чаду, пока пригорала к донцу кастрюльки моя манная каша, был заложен фундамент невыразимо прекрасного храма, — со

ступенями, похожими на уступы прибрежной скалы, с колоннадой, подобной хороводу торжествующих нимф, с пронизиями влажных жемчужин на тонких абаках, с копыносными героями на фронтонах. Я хочу дотянуться до рук, которые его создавали.

Я ничего, ничего не могу ни объяснить, ни назвать.

Я закрываю глаза и почему-то вижу узоры на морозном окне: там потрескивает от стужи тайга, там порскают куницы и стерегут рыси, и моё окно простирается до самого Тихого океана. Я сижу на кухне у этого магического стекла и втихаря лопаю из банки засахарившееся варенье; хлипкой гнущейся ложкой я дроблю и скребу плотную корку, и хруст её тоже по-своему таёжен и снежен. Я смотрю на себя изнутри и со стороны одновременно: со стороны мне даже противен этот ребёнок в замызганных серых колготках, выплёвывающий в цветочный горшок вишнёвые косточки. Изнутри мне сладко от хруста мороза и сахара, мучительно совестно непонятно за что — и мистически страшно от тысячи тайн, не имеющих имён, мерцающих отовсюду.

Я сдаюсь, И. Х. Я бросаю эту затею, как бросил тот несчастный роман про дворянскую дачу. Быть может, я вспомню когда-нибудь, — или ты мне напомнишь, — как звучит заклятие, отмыкающее дверь забвения. Но, боюсь, это будет там, откуда уже ни единого слова не долетит до здешнего мира, только скрипы разохшихся досок или шмелиное пение над джунглями июльской крапивы. Вот всё, что я могу тебе сказать.

0.

Снова была скамейка на детской площадке, и неистовые предвечерние лучи били сквозь рябиновую листву.

— Иди купи мороженого, — сказал И. Х. почти весело. — Пломбира с чёрной смородиной. И не смей ныть, что пломбир уже не тот.

— Хорошо же меня знает моё альтер эго, — ответил я, вставая. — Тебе пломбира, мне бутылку “Рижского”. Пойду.

— Иди.

Если бы чья-нибудь мать выглянула в ту минуту в окно, высматривая своё чадо на серо-зелёном топографическом плане двора, она увидела бы только, как я поднимаюсь со скамейки, выбрасываю в урну бычок и быстрым шагом иду по направлению к подворотне. Так проводник на вокзале, ничего не подозревая, мельком видит фигуру идущего по платформе пассажира, одного из тысяч, того самого, с закипающей на ресницах невидимой влагой, которая если и прольётся, то не сейчас.

Я пойду в универсам на углу, где когда-то не продавалось почти ничего, кроме трёхлитровых банок яблочного сока, в которых, как заспиртованные уроды, темнели медузы рыжего густого осадка. Я пойду мимо белой многоэтажки, напоминающей военный корабль, и сине-зелёной многоэтажки, напоминающей о волнах, сомкнувшихся над потопленным кораблём. Я пойду по разбитому асфальту, на котором изменилась каждая рытвина, но под неизменными охлестами пропылённого ветра; я пойду мимо бетонного крыльца, где сидели *царь, царевич, король, королевич*, и мимо помойки (*а в помойке крыса родила Бориса*), куда уносили мои сломанные игрушки и где был найден однажды вечером мёртвый котёнок с ещё влажным вывалившимся язычком.

Если бы чья-нибудь мать выглянула в ту минуту в окно, высматривая своё чадо на серо-зелёном топографическом плане двора, она увидела бы только, как И. Х. поднимается со скамейки,

выбрасывает в урну бычок и быстрым шагом идёт по направлению к подворотне. Так проводник на вокзале, ничего не подозревая, мельком видит фигуру идущего по платформе пассажира, одного из тысяч, того самого, с закипающей на ресницах невидимой влагой, которая если и прольётся когда-нибудь, то не сейчас.

Он пойдёт в универсам на углу, где нужно было нюхать застоявшийся складской воздух и тыкать огромной вилкой в чёрствые буханки хлеба (*немец думал, что война*). Он пойдёт мимо длинного пандуса у входа в городскую больницу, с которого было здорово съезжать на роликах или скейте, и мимо новостройки, занявшей место прекраснейшего из пустырей, с непроходимыми травами и раздольем аргентинских пампасов. Он пойдёт по коросте запёкшейся памяти над гноящейся раной забвения; пойдёт уверенно и не оглядываясь, гордый, обнищавший, без замусорившихся семечек в кармане, без жёвки за ухом, но с фантомной болью от отвешенного отчимом леща, с дребезжащей песенкой Майкла Джексона между барабанными перепонками.

Всё потому, что между детством и остальной жизнью возвышается туманный заслон, сквозь который проходишь босиком на рассвете, с полузакрытыми глазами, — быть может, и вовсе не просыпаясь. Из этого перламутрового тумана, переминаясь с ноги на ногу на хвостой тропке, И. Х. махнёт мне своей по-подростковому нескладной рукой; я мысленно махну ему в ответ, запивая пивом неумолимо тающий черносмородиновый пломбир.

2016-2021

tibi Architecte mundi florentis gratias ago